

«Сад безмолвных слов»



Данна Леднива

Данна Леднива

Сад безмолвных слов

«Автор»

2026

Леднива Д.

Сад безмолвных слов / Д. Леднива — «Автор», 2026

Восемнадцатилетний Итан Хартли — студент Лондонского колледжа моды, потерявший отца восемь лет назад и с тех пор живущий в тени его мастерской. Он рисует обувь, потому что верит: хорошая пара ботинок — это способ сказать человеку, что ты хочешь, чтобы он шёл дальше. Каждое утро он прогуливает пары и укрывается в старой беседке Риджентс-парка, где никто его не ищет. Двадцативосьмилетняя Нора Вэнс когда-то была учительницей литературы, пока одна ученица не разрушила её жизнь одной ложью. Теперь она пьёт пиво по утрам и не знает, зачем просыпается. Они встречаются в дождь. Двое одиноких людей, разделённых возрастом, прошлым и целым миром. Они не должны были найти друг друга. Они не должны были говорить. Они не должны были остаться. Но сад, в котором они укрываются, — не просто парк. Он помнит все слова, которые в нём сказали. Все чувства, которые не выразили. Всё, что было искренним и осталось неслышанным.

© Леднива Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Дождь начинается в четверг	5
Глава 2. Незнакомка и эскизы	9
Глава 3. Первые слова	14
Глава 4. Мастерская и колледж	21
Глава 5. Сад раскрывается	26
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Данна Леднива

Сад безмолвных слов

Глава 1. Дождь начинается в четверг

Дождь в Лондоне — это не погода. Это состояние души.

Он не начинается внезапно, как летняя гроза где-нибудь в Тоскане, и не заканчивается так же быстро, оставляя после себя запах мокрой земли и ощущение чуда. Лондонский дождь — это долгий, вдумчивый разговор неба с землёй, который может длиться часами, днями, неделями. Он не спрашивает разрешения. Он просто приходит — как память, как совесть, как старость.

В четверг, двенадцатого октября, дождь начался в шесть сорок утра.

Итан Хартли проснулся от того, что капли застучали по жестяному карнизу за окном его комнаты. Этот звук он знал с детства — монотонный, почти гипнотический, он всегда означал одно и то же: сегодня можно не притворяться. Можно не играть роль прилежного студента Лондонского колледжа моды. Можно не улыбаться однокурсникам, которые смотрят на него как на экспонат в музее странностей. Можно просто... исчезнуть.

Он лежал в постели ещё десять минут, слушая дождь и глядя в потолок, на котором трещины складывались в карту несуществующего острова. Мать ушла на смену в больницу ещё в пять — он слышал, как хлопнула входная дверь, как её шаги стихли на лестнице. Дебора Хартли работала медсестрой в Королевской больнице уже двадцать лет, и за эти годы она научилась уходить так тихо, чтобы не будить сына. Итан был благодарен ей за это. Он вообще был благодарен ей за многое, хотя никогда не говорил об этом вслух.

В комнате пахло старой мебелью, кожей и клеем — запахом, который въелся в стены их квартиры настолько, что его не мог выветрить даже сквозняк. Этот запах остался от отца. От его мастерской. От той жизни, которая закончилась восемь лет назад, когда Итану было десять.

Мальчик встал, натянул серую толстовку, джинсы с потёртыми коленями и старые кроссовки, которые сам же и починил прошлой зимой. Кроссовки были некрасивые — грубый шов, несоразмерная подошва — но удобные. Итан знал, что удобство важнее красоты. Отец всегда так говорил.

«Красота — это для витрины, сынок. А удобство — для жизни. Ты должен делать обувь для жизни».

Он взял рюкзак, в котором лежали конспекты по истории дизайна, блокнот для эскизов и пенал с карандашами, и вышел из квартиры. Первая пара начиналась в девять. У него было почти два часа.

Улицы Кэмдена в такое утро принадлежали дворникам и ранним торговцам. Итан шёл мимо закрытых ларьков на рынке, мимо пабов с тёмными окнами, мимо витрин, в которых отражалось серое небо. Дождь шёл ровно, без ветра, — мелкая морось, которая не столько мочила, сколько окутывала. Она оседала на волосах, на плечах, на ресницах, превращая мир в акварель с размытыми краями.

Он мог бы поехать на метро. Мог бы дойти до колледжа за двадцать минут, если бы шёл быстро. Но ноги сами несли его в другую сторону — на юг, через Камден-Хай-стрит, мимо тёмных вод канала, к Риджентс-парку.

Итан знал этот маршрут наизусть. Он мог пройти его с закрытыми глазами, считая шаги, узнавая каждый поворот по звуку, по запаху, по тому, как меняется эхо от его шагов. Он шёл мимо библиотеки, где однажды нашёл книгу об итальянских сапожниках эпохи Возрождения,

мимо кофейни, где работала девушка с фиолетовыми волосами и всегда улыбалась ему, мимо старого книжного, в витрине которого висела карта Лондона 1888 года.

Парк встретил его тишиной. В такую погоду здесь не было ни бегунов, ни туристов, ни мам с колясками. Только мокрые деревья, только лужи, в которых отражались фонари, только безмолвие.

Итан прошёл мимо главных ворот, не сворачивая. Он направлялся в самую глубь парка — туда, где тропы становились уже, где деревья росли плотнее, где стояла старая беседка, увитая плющом. Он нашёл её два года назад, случайно, в один из тех дней, когда особенно сильно хотелось исчезнуть. С тех пор это место стало его убежищем.

Беседка была деревянной, с облупившейся зелёной краской и скамьёй, на которой кто-то вырезал ножом слова, которые Итан никогда не мог прочитать до конца. Крыша протекала в одном месте — тонкая струйка воды падала на каменный пол, и звук этот был похож на метроном. Итану нравилось это. Тик. Тик. Тик. Как будто сад отсчитывал время, которого не существовало.

Он сел на скамью, достал из рюкзака блокнот и карандаш. Блокнот был почти заполнен — страницы с эскизами обуви, набросками, заметками на полях. Кроссовки, ботинки, туфли, сандалии — всё это он рисовал с десяти лет, с тех пор как впервые взял в руки отцовский карандаш.

Итан открыл новую страницу и начал рисовать. Линии ложились легко, привычно. Он рисовал женскую туфлю — изящную, с тонким каблуком и мягким изгибом. Такую, в которой можно идти по жизни, не спотыкаясь. Такую, которая не жмёт, не натирает, не заставляет страдать ради красоты.

Он думал о той, для кого эта туфля предназначалась. Он всегда рисовал для кого-то. Отец говорил: «Обувь без человека — просто кожа. Ты должен представлять того, кто будет её носить. Ты должен знать, куда он идёт».

Итан не знал, куда идёт он сам. Но он знал, что хочет помочь кому-то другому найти свой путь.

Она появилась около девяти.

Итан не услышал шагов — дождь заглушал всё. Просто поднял глаза и увидел её. Женщина стояла у входа в беседку, в тёмном плаще, с мокрыми волосами, прилипшими к лицу. В одной руке она держала банку пива, в другой — пакет с чем-то, что Итан сначала принял за книги. Она смотрела на него с удивлением, как будто не ожидала встретить здесь кого-то.

Он молчал. Она тоже.

Она была старше его — намного старше. Лет двадцати восьми или двадцати девяти. У неё были рыжеватые волосы, которые казались тёмными от влаги, и зелёные глаза с кругами усталости под ними. Она выглядела так, будто не спала несколько ночей. Так, будто что-то сломалось внутри и она не знала, как починить.

Итан узнал это выражение. Он видел его каждый день в зеркале.

Женщина прошла в беседку и села на противоположный конец скамьи. Открыла банку пива — шипение пены показалось оглушительным в тишине. Сделала глоток. Потом ещё один. И только потом посмотрела на Итана.

— Ты прогуливаешь пары, — сказала она. Это был не вопрос.

Итан пожал плечами.

— А вы прогуливаете работу.

Она усмехнулась. Уголок губ дёрнулся вверх, но глаза остались холодными.

— Туше.

Они снова замолчали. Дождь стучал по крыше беседки, стекал по плющу, капал на каменный пол. Тик. Тик. Тик.

Итан вернулся к своему блокноту. Он чувствовал на себе её взгляд — она смотрела на его руки, на карандаш, на линии, которые появлялись на бумаге. Ему было неловко под этим взглядом, но он не мог остановиться. Рисование было единственным, что имело смысл.

— Что ты рисуешь? — спросила она через несколько минут.

— Обувь.

— Обувь? — Она наклонилась, пытаясь разглядеть. — Почему обувь?

Итан не ответил сразу. Он думал о том, как объяснить то, что не поддавалось объяснению. Как рассказать о том, что обувь — это не просто кожа и нитки. Что это способ сказать человеку: я хочу, чтобы ты шёл дальше. Что это искусство, которое не висит в галереях, а живёт на ногах, в движении, в каждом шаге.

— Потому что все куда-то идут, — сказал он наконец. — А хорошая обувь помогает им не останавливаться.

Женщина посмотрела на него долгим взглядом. В её глазах промелькнуло что-то — может быть, удивление, может быть, узнавание.

— Красиво, — сказала она тихо. — Ты всегда знаешь, куда идёшь?

— Нет, — честно ответил Итан. — Но я хочу помочь другим найти дорогу.

Она откинулась на спинку скамьи и снова посмотрела на дождь. Пиво в её руке почти не тронулось — она держала банку, как держат что-то, что помогает выжить, а не для удовольствия.

— Я завидую тебе, — сказала она. — У тебя есть то, чего у меня нет.

— Что?

— Направление.

Итан не понял. Он хотел спросить, что она имеет в виду, но что-то в её позе — напряжённой, закрытой — сказало ему, что не стоит. Она не была готова к разговору. Она вообще ни к чему не была готова.

Он снова вернулся к рисованию. Женщина молчала. Дождь продолжал идти.

Они просидели так почти час — незнакомец и незнакомка, разделённые скамьёй и молчанием. Итан дорисовал туфлю, нарисовал вторую, начал работать над деталями. Женщина пила пиво и смотрела на дождь. Иногда она закрывала глаза, и Итану казалось, что она спит — но нет, она просто отдыхала от чего-то, что было слишком тяжело.

Когда он собрался уходить, она не попрощалась. Просто кивнула, не поднимая глаз. Итан вышел из беседки, и дождь тут же намочил его волосы, шею, плечи. Он шёл по тропе, не оглядываясь, но чувствовал, что она смотрит ему вслед.

Он не знал её имени. Не знал, почему она пила пиво в парке в девять утра. Не знал, что её сломало. Но он знал одно: он вернётся сюда. Завтра. И, возможно, послезавтра.

Не потому что она была интересна. А потому что в её глазах он узнал своё собственное отражение — человека, который потерял путь, но всё ещё надеется его найти.

Домой Итан вернулся в полдень. Он так и не пошёл в колледж — пропустил первую пару по истории дизайна, пропустил вторую по материаловедению. Ему было всё равно. Или почти всё равно.

Квартира встретила его тишиной и запахом старой кожи. Он снял мокрые кроссовки, поставил их сушиться у батареи и прошёл в свою комнату.

На столе лежали учебники. Он не открыл их. Вместо этого достал из-под кровати старую деревянную коробку — ту, в которой хранились отцовские инструменты. Молоток, шило, клещи, нож для кожи, воск, нитки. Он знал каждый из этих предметов на ощупь. Знал, как отец держал их, как двигались его руки, как он улыбался, когда работа ладилась.

Итан достал из коробки кусок кожи — старый, но ещё крепкий — и положил его на стол рядом с блокнотом. Он хотел сделать туфли. Настоящие. Не на бумаге. Такие, которые можно будет надеть и пойти.

Он не знал, для кого они будут. Но он знал, что они будут для неё. Для женщины из беседки. Для человека, который потерял направление.

Мать вернулась вечером, усталая, с пакетом продуктов. Она увидела Итана за столом, с кожей и инструментами, и ничего не сказала. Только поджала губы — это было её способом выразить неодобрение, не вступая в конфликт.

— Как дела в колледже? — спросила она, разбирая продукты.

— Нормально.

Она знала, что он врёт. Он знал, что она знает. Но они продолжали играть в эту игру, потому что правда была слишком тяжёлой для обоих.

— Мам, — сказал Итан, не поднимая глаз от работы. — А ты помнишь, как папа говорил про обувь?

Дебора замерла на секунду. Потом продолжила раскладывать продукты.

— Он много чего говорил.

— Он говорил, что обувь — это способ сказать человеку, что ты хочешь, чтобы он шёл дальше.

Она ничего не ответила. Прошла в свою комнату и закрыла дверь.

Итан остался один. Он смотрел на кусок кожи перед собой и думал о том, что иногда люди уходят, но слова остаются. Инструменты остаются. Мастерская остаётся. И, может быть, этого достаточно, чтобы продолжать.

Он взял нож и начал вырезать первую деталь.

Ночью дождь усилился. Итан лежал в постели, слушал, как вода стучит по крыше, и думал о женщине в беседке. Он не знал её имени. Не знал, где она живёт. Не знал, вернётся ли она завтра.

Но он знал, что вернётся он сам. Потому что впервые за долгое время у него появилось чувство, что он не один. Что где-то есть человек, который так же потерян, как и он. И, может быть, вместе они смогут найти дорогу.

Он закрыл глаза и представил себе туфли, которые сделает для неё. Тёмно-зелёные, как плющ на беседке. Мягкие, как дождь. Крепкие, как память.

Он заснул, и ему снился сад — большой, запутанный, полный троп, которые вели в никуда. Он шёл по этим тропам, и под ногами у него были туфли, которые он сделал сам. Туфли, которые не жали. Туфли, в которых можно было идти вечно.

Утром дождь всё ещё шёл.

Итан встал, оделся и снова пошёл в парк.

Глава 2. Незнакомка и эскизы

Итан пришёл в парк на следующее утро, хотя первая пара начиналась через два часа. Он сказал себе, что просто хочет проверить, не испортилась ли погода. Что ему нужно нарисовать ещё пару эскизов. Что беседка — это просто место, а не что-то большее. Он врал себе так убедительно, что почти верил.

Дождь не прекращался. Он шёл всю ночь — Итан слышал его сквозь сон, сквозь тонкие стены их квартиры, сквозь собственные мысли. К утру он превратился в мелкую, почти невидимую морось, которая висела в воздухе, как дыхание. Лондон в такие дни становился призрачным — дома теряли чёткость, люди превращались в тени, звуки приглушались, будто город накрыли одеялом.

Итан шёл по знакомой тропе, и его кроссовки оставляли тёмные следы на мокром асфальте. Он думал о вчерашней женщине. О том, как она держала банку пива — не как напиток, а как спасательный круг. О том, как она смотрела на дождь — не как на погоду, а как на единственного друга. О том, как она сказала: «Я завидую тебе. У тебя есть направление».

Он не знал, что ответить тогда. Не знал, что ответить сейчас. Но он знал, что хочет её увидеть. Это было странно — он, восемнадцатилетний парень, студент первого курса Лондонского колледжа моды, который должен был думать о зачётах, о проектах, о будущей карьере, — думал о женщине, которая была старше его на десять лет. О женщине, которая пила пиво в парке в девять утра. О женщине, чьё имя он даже не знал.

Но разве это имело значение? Разве имело значение всё остальное — возраст, статус, обстоятельства? В её глазах он увидел то, что видел в своих собственных, когда смотрел в зеркало. Потерянность. Усталость. Тихое отчаяние человека, который не знает, зачем просыпается утром.

Он хотел понять. Хотел помочь. Хотел... что-то. Что-то, чему не было названия.

Беседка появилась из тумана внезапно, как всегда. Итан замедлил шаг, всматриваясь в зелёный полумрак. Она была там. Сидела на том же месте, на противоположном конце скамьи, с той же банкой пива в руке. На ней был тот же тёмный плащ, и волосы всё так же липли к лицу. Она выглядела так, будто и не уходила.

Итан остановился у входа. Она подняла голову, и их взгляды встретились. Ни удивления, ни радости — просто узнавание. Как будто они оба знали, что встретятся снова.

— Ты вернулся, — сказала она. Голос был хриплым, как у человека, который давно не разговаривал.

— Вы тоже.

Она не ответила. Снова посмотрела на дождь. Итан прошёл внутрь, сел на своё место — на расстоянии вытянутой руки от неё, но не ближе. Достал блокнот, карандаш. Открыл страницу, на которой вчера остановился. Туфля была почти закончена — оставалось прорисовать детали, добавить шнуровку, тени.

Он начал работать. Она продолжила пить пиво. Молчание между ними было не неловким, а... правильным. Как будто слова были бы лишними. Как будто тишина говорила больше, чем любой разговор.

Прошло, наверное, полчаса. Итан дорисовал туфлю и начал новую — на этот раз ботинок. Мужской, крепкий, с толстой подошвой. Такой, в котором можно ходить по грязи, по камням, по любой дороге, которую выберет жизнь. Он думал о том, для кого этот ботинок. Может быть, для себя. Может быть, для отца, который больше никогда не сможет ходить. Может быть, для всех тех людей, которые ищут свой путь и не могут его найти.

— Ты всегда рисуешь обувь? — спросила она, не поворачивая головы.

— Да.

— Почему не людей? Не пейзажи? Не что-то... нормальное?

Итан задумался. Карандаш замер в его руке. Он смотрел на дождь, на деревья, на мир, который был серым и мокрым. Думал о том, как объяснить то, что чувствовал. Как объяснить, что обувь — это не просто предмет. Что это — язык. Что это — способ говорить с миром.

— Потому что обувь — это правда, — сказал он наконец. — Люди могут врать. Слова могут врать. Даже лица могут врать. Но обувь — никогда. По обуви видно, куда человек идёт и как долго он уже в пути. Видно, беден он или богат, здоров или болен, счастлив или нет. Обувь не умеет притворяться.

Женщина повернула голову. Впервые за всё время она посмотрела на него по-настоящему — не мельком, не искоса, а прямо. Её зелёные глаза были усталыми, но в них мелькнуло что-то — может быть, интерес, может быть, удивление.

— Это... необычный способ смотреть на мир.

— Меня научил отец.

— Он сапожник?

— Был.

Слово повисло в воздухе. «Был». Прошедшее время. Она поняла. Не стала спрашивать, что случилось. Просто кивнула и снова отвернулась к дождю.

Итан вернулся к рисованию. Но руки дрожали — не сильно, почти незаметно. Он всегда так реагировал, когда говорил об отце. Восемь лет прошло, а рана не зажила. Может быть, никогда не заживёт.

— А вы? — спросил он, не поднимая глаз. — Чем вы занимаетесь?

Она долго молчала. Так долго, что Итан решил, что она не ответит. Но потом она сказала:

— Ничем.

И это «ничем» прозвучало тяжелее любого ответа.

Нора Вэнс не помнила, как оказалась в этом парке. Не помнила, как села на эту скамью. Не помнила, когда открыла первую банку пива — вчера? Позавчера? Неделью назад? Время потеряло для неё форму. Дни сливались в один длинный, серый день, который никогда не заканчивался.

Она смотрела на мальчика, который сидел рядом и рисовал обувь. Он был худой, с тёмными волосами и серыми глазами, которые казались старше его лица. Лет восемнадцать, может, девятнадцать. Студент. Прогуливает пары, чтобы сидеть в парке с незнакомой женщиной. Это должно было казаться странным, но Норе было всё равно. Она давно перестала удивляться чему-либо.

Она думала о том, что когда-то сама была учительницей. Что когда-то стояла перед классом и рассказывала о Киплинге, о Теннисоне, о том, как слова могут менять мир. Что когда-то верила в то, что делает. А теперь... теперь она сидела в парке с банкой пива и не могла вспомнить, зачем вообще просыпалась утром.

«Ты не знаешь меня», — думала она, глядя на мальчика. — «Ты не знаешь, что я сделала. Что со мной сделали. Ты видишь просто женщину, которая пьёт пиво в парке. А я... я вижу человека, который потерял всё».

Она вспомнила Оливию. Вспомнила её лицо — юное, красивое, полное ненависти. Вспомнила, как та сказала: «Ты думаешь, ты лучше нас? Ты думаешь, ты можешь указывать нам, как жить?» Вспомнила, как слухи расплзались по школе, как коллеги отводили глаза, как директор вызвал её в кабинет и сказал: «Мы должны подумать о репутации школы».

Вспомнила Джеймса. Как он смотрел на неё, когда она сказала, что её обвиняют. Как он молчал. Как он не сказал ни слова в её защиту. Как он просто... ушёл.

Она думала, что любовь — это когда человек верит тебе, даже когда весь мир против. Она ошибалась. Любовь — это когда человек уходит, потому что боится, что тень от твоей беды упадёт и на него.

Нора сделала глоток пива. Оно было тёплым и горьким. Как её жизнь.

Мальчик рядом что-то рисовал. Карандаш двигался по бумаге быстро, уверенно. У него были руки рабочего человека — с мозолями, с царапинами, с коротко остриженными ногтями. Не руки студента. Руки того, кто знает, что такое труд.

Она вспомнила, как однажды спросила своего ученика: «Кем ты хочешь стать?» И он ответил: «Не знаю. Наверное, как все». Нора тогда подумала: «Бедный мальчик. Он даже не мечтает». А теперь она смотрела на этого мальчика — с его блокнотом, с его обувью, с его странной философией — и понимала, что он-то как раз знает, кем хочет быть. Он нашёл своё. А она — потеряла.

«Я завидую тебе», — сказала она вчера. И это была правда.

Она завидовала не его молодости. Не его таланту. Она завидовала его уверенности. Тому, как он держал карандаш. Тому, как он смотрел на мир. Тому, как он говорил об обуви — с любовью, со знанием, с чем-то, что было похоже на веру.

У Норы когда-то тоже была вера. Она верила в силу слов. Верила, что литература может спасти. Верила, что если рассказать детям о Киплинге, о Диккенсе, о Шекспире — они станут лучше. Добрее. Честнее.

А потом пришла Оливия. И слова, которые Нора так любила, стали оружием. Против неё. «Она сказала, что ты домогалась до неё. Что ты писала ей сообщения. Что ты...»

Голос директора в её памяти. Такой вежливый, такой осторожный. Он не спрашивал, правда ли это. Он спрашивал, как ей удобнее уйти.

Нора закрыла глаза. Дождь стучал по крыше беседки. Тик. Тик. Тик.

Она думала о том, что могла бы умереть прямо сейчас. Просто закрыть глаза и не открывать. Это было бы так просто. Никто бы не заметил. Никто бы не заплакал. Джеймс бы, может, вздохнул с облегчением. Оливия бы, может, почувствовала вину — на секунду, не больше.

Но мальчик рядом... он бы заметил. Он бы увидел, что она перестала дышать. И, может быть, он бы расстроился. Всего один человек. Но этого было достаточно, чтобы она открыла глаза.

— Почему ты прогуливаешь пары? — спросила она, чтобы нарушить тишину.

Итан пожал плечами.

— Потому что там всё не так.

— Что не так?

Он отложил карандаш и посмотрел на неё. Серьёзно, без улыбки.

— Всё, — сказал он. — Люди притворяются. Преподаватели притворяются, что им важно, что мы выучим. Студенты притворяются, что им весело. Все играют в игру, правил которой никто не знает. А я не умею играть.

Нора кивнула. Она понимала.

— А что ты умеешь?

— Рисовать. Делать обувь. Чинить вещи.

— Этого достаточно?

Итан задумался. Долго. Потом сказал:

— Не знаю. Но это единственное, что у меня есть.

Нора снова почувствовала укол зависти. У этого мальчика была страсть. У неё — ничего. Только пустота, которую она заполняла пивом и сном.

— Расскажи мне про своего отца, — сказала она.

Итан вздрогнул. Она увидела, как напряглись его плечи, как сжались челюсти.

— Зачем?

— Потому что ты сказал, что он научил тебя смотреть на мир. Я хочу знать, как. Итан молчал. Дождь стучал. Тик. Тик. Тик.
А потом он заговорил.

«Отец умер, когда мне было десять», — начал Итан. — «Рак. Быстрый. Он узнал о диагнозе в январе, а умер в марте. Всё случилось так быстро, что я не успел... не успел ничего».

Он смотрел на свои руки. На мозоли. На царапины. На следы от инструментов.

«Он был сапожником. У него была мастерская в Кэмдене — маленькая, тесная, но своя. Он говорил, что обувь — это не ремесло, а искусство. Что каждый человек заслуживает обуви, в которой ему будет хорошо идти. Даже если он не знает, куда идёт».

Нора слушала. Не перебивала.

«Он брал меня в мастерскую с пяти лет. Я сидел в углу, смотрел, как он работает. Он давал мне обрезки кожи, старые инструменты, и я делал... не знаю. Кукол. Фигурки. Ерунду. Но он всегда хвалил. Говорил: "Ты делаешь то, что хочешь. Это главное"».

Итан замолчал. Нора видела, как дрожат его руки.

«За месяц до смерти он начал делать туфли для мамы. На день рождения. Он знал, что не успеет. Но всё равно работал. Каждый день. Когда уже не мог вставать, просил меня принести инструменты в больницу. Медсёстры ругались, но он... он был упрямый».

Он сглотнул.

«Он не успел. Туфли остались незаконченными. Я храню их. Иногда достаю, смотрю. Думаю, что мог бы закончить. Но не могу. Не хватает... чего-то».

Нора поняла. Это было не про обувь. Это было про отца. Про то, что он оставил после себя. Про то, что Итан не мог отпустить.

— А что сказала мама? — спросила она тихо.

Итан усмехнулся. Горько.

— Мама сказала, что это глупости. Что мне нужно думать о будущем. О карьере. О деньгах. Она работает медсестрой, чтобы мы могли жить. Она не понимает, зачем мне это. Зачем я трачу время на обувь, которая никому не нужна.

— А тебе она нужна?

Он посмотрел на неё. Прямо. Открыто.

— Да. Это единственное, что имеет смысл.

Нора кивнула. Она не знала, что сказать. В его словах была правда, которую она давно забыла. Правда о том, что можно жить ради чего-то. Ради дела. Ради страсти. Ради мечты.

А она? Ради чего жила она?

Когда Итан ушёл — около трёх часов, потому что вспомнил, что у него есть задание по истории дизайна, которое нужно сдать завтра, — Нора осталась одна. Она смотрела на банки из-под пива, на шоколадную обёртку, которую он оставил на скамье. На мир, который продолжал существовать, хотя ей казалось, что он должен был остановиться.

Она думала о мальчике. О его глазах. О его руках. О его упрямстве. Он был как маленький огонёк в темноте, которую она создала вокруг себя. Огонёк, который она не заслужила.

Она встала. Собрала банки. Выбросила их в урну — впервые за долгое время. Подняла шоколадную обёртку, сложила её вчетверо и положила в карман плаща. Не знала зачем. Просто захотела сохранить.

Дождь почти закончился. Сквозь тучи пробивался слабый свет — не солнце, но что-то похожее на надежду. Нора подняла голову. Посмотрела на небо.

И в этот момент она увидела это. В траве, у входа в беседку, там, где Итан стоял, когда пришёл. Маленький росток. Не просто росток — светящийся, тонкий, как паутина. Он пульсировал слабым зелёным светом, будто дышал.

Нора моргнула. Росток не исчез.

Она наклонилась, чтобы рассмотреть его ближе. Свет был мягким, тёплым. Он не обжигал. Наоборот — от него исходило ощущение покоя. Как будто кто-то невидимый сказал: «Всё будет хорошо».

Нора протянула руку. Коснулась пальцами светящегося стебля. И почувствовала... ничего. Или, вернее, всё сразу. Радость и боль. Надежду и отчаяние. Всё, что она подавляла в себе месяцами, поднялось на поверхность и разлилось по телу, как тёплая волна.

Она отшатнулась. Сердце колотилось. Росток продолжал светиться.

«Что это?» — подумала она. — «Что это, чёрт возьми?»

Она не знала ответа. Но впервые за долгое время она почувствовала любопытство. Не апатию. Не усталость. Не желание исчезнуть. А любопытство.

Она вернулась на скамью и села. Достала из кармана шоколадную обёртку. Развернула. Посмотрела на неё.

На обёртке, рядом с логотипом, кто-то — Итан? — написал маленькими буквами: «Не сдавайтесь».

Нора улыбнулась. Впервые за много месяцев. По-настоящему.

Итан вернулся домой, и мать встретила его у двери. Она стояла, скрестив руки, с выражением, которое он знал слишком хорошо.

— Ты был в колледже?

— Да.

— Не ври мне.

Он молчал. Дебора вздохнула. Устало, глубоко. Она выглядела старше своих сорока пяти — морщины вокруг глаз, седина в волосах, плечи, опущенные под тяжестью жизни.

— Я не знаю, что с тобой делать, Итан, — сказала она. — Я работаю, чтобы ты мог учиться. Чтобы у тебя было будущее. А ты... ты прогуливаешь пары. Ты сидишь в парке. Ты рисуешь эту дурацкую обувь.

— Она не дурацкая.

— Она бесполезна.

Итан посмотрел на неё. В его глазах не было злости. Только усталость.

— Папа так не думал.

Дебора вздрогнула. Её лицо на секунду потеряло уверенность.

— Папы больше нет, — сказала она тихо. — И его мечты больше нет. Есть только мы. И нам нужно выживать.

Она ушла в свою комнату. Итан остался стоять в коридоре. Он смотрел на закрытую дверь и думал о том, что мать права. И неправа. Одновременно.

Он прошёл в свою комнату. Сел за стол. Открыл блокнот. На новой странице начал рисовать. Не обувь. Не ботинки. А сад. Беседку. Женщину с банкой пива. Росток, который он видел краем глаза, но не успел рассмотреть.

Он рисовал до глубокой ночи. И когда закончил, посмотрел на рисунок и понял: он не один. Есть кто-то ещё. Кто-то, кто так же потерян. И, может быть, вместе они смогут найти дорогу.

Он закрыл блокнот. Лёг в постель. Закрыв глаза.

И ему приснился сад — большой, запутанный, полный троп. Он шёл по этим тропам, и рядом с ним шла женщина. Её лица он не видел. Но он знал, что она улыбается.

Утром дождь всё ещё шёл.

Итан встал, оделся и снова пошёл в парк.

Глава 3. Первые слова

Прошло четыре дня. Итан приходил в парк каждое утро — в пятницу, в субботу, в воскресенье, в понедельник. И каждое утро Нора была там. Она сидела на том же месте, с той же банкой пива, в том же тёмном плаще, который, казалось, стал её второй кожей. Но что-то менялось. Медленно, почти незаметно — как меняется свет в конце октября, когда дни становятся короче, а тени длиннее.

В пятницу она кивнула ему, когда он вошёл. В субботу сказала: «Доброе утро». В воскресенье спросила, что он рисует. В понедельник они разговаривали уже два часа — о пустяках, о погоде, о том, что в парке стало меньше белок. Ни один не касался главного. Ни один не спрашивал о том, что болит.

Но слова уже начали прокладывать мост. Медленно, доска за доской, через пропасть, которая разделяла двух незнакомцев.

Во вторник дождь был особенно сильным. Не морось, не туман — настоящий ливень, который барабанил по крыше беседки так громко, что приходилось повышать голос. Вода стекала по плющу зелёными струями, заливала каменный пол, образовывала лужи у входа. Итан промок, пока дошёл от ворот до беседки — куртка насквозь, кроссовки хлюпали, волосы прилипли ко лбу.

Нора была там. Она сидела, поджав ноги под себя, и смотрела на дождь с выражением, которое Итан не мог расшифровать. Не грусть. Не радость. Что-то среднее. Что-то вроде смирения.

— Ты похож на мокрого кота, — сказала она, когда он вошёл.

— Спасибо. Вы тоже.

Она усмехнулась. Это была уже третья усмешка за всё время их знакомства. Итан считал. Каждая усмешка была маленькой победой.

Он сел на своё место — теперь уже «свое», хотя никто им его не назначал. Достал блокнот. Но не начал рисовать. Просто держал карандаш в руке и смотрел на дождь.

— Можно вопрос? — сказал он.

— Ты уже задал.

— Ещё один.

Нора повернула голову. Посмотрела на него своими зелёными глазами, в которых усталость боролась с любопытством.

— Валяй.

— Почему вы пьёте пиво по утрам?

Вопрос повис в воздухе. Дождь стучал по крыше. Тик. Тик. Тик.

Нора долго молчала. Итан уже решил, что она не ответит — что он перешёл черту, что она встанет и уйдёт. Но она не ушла. Она посмотрела на банку в своей руке, потом на него.

— Потому что по вечерам я пью вино, — сказала она. — А по утрам — пиво. Так день проходит быстрее.

Итан не улыбнулся. Это не было шуткой. Это была правда, завернутая в сарказм — как конфета в фантик, чтобы горькое лекарство легче шло.

— А зачем вам, чтобы день проходил быстрее?

Нора отвернулась. Посмотрела на дождь.

— Потому что я не знаю, что с ним делать.

Нора не собиралась отвечать на его вопрос. Она вообще не собиралась разговаривать с ним сегодня. У неё болела голова — с утра, ещё до того, как она вышла из дома. Точнее, из

квартиры. Точнее, из того места, которое она называла домом, хотя оно давно перестало им быть.

Она проснулась в семь. Лежала в постели, смотрела в потолок, считала трещины. Их было двенадцать. Она знала это наизусть — как знала каждый звук в своей квартире: скрип половиц в коридоре, гудение холодильника, капанье воды из крана, который она так и не починила. Всё это было частью её мира. Мира, который сжался до размеров одной комнаты, одной кровати, одной бутылки.

Она не помнила, когда в последний раз выходила куда-то, кроме парка и магазина на углу. Не помнила, когда в последний раз разговаривала с кем-то, кроме кассира и этого мальчика. Не помнила, когда в последний раз смеялась — по-настоящему, до слёз, до боли в животе.

Она думала о том, что жизнь — это странная штука. В детстве она казалась бесконечной — длинной дорогой, которая ведёт к чему-то важному. В юности — сложной, но интересной — лабиринтом, в котором можно заблудиться, но всегда найдётся выход. А теперь... теперь она была просто длинной. Серой. Пустой. Как коридор в больнице, по которому идёшь и не знаешь, где заканчивается.

Нора знала, что с ней что-то не так. Знала, что нужно что-то делать. Пойти к врачу. Поговорить с кем-то. Вернуться к работе. Но каждый раз, когда она думала об этом, тело становилось тяжёлым, как свинец. Каждый раз, когда она представляла, что нужно выйти из квартиры, позвонить, записаться на приём, улыбнуться, сказать «всё хорошо» — её охватывала такая усталость, что она откладывала. На завтра. На послезавтра. На никогда.

А потом появился этот мальчик. С его блокнотом. С его обувью. С его дурацким вопросом: «А зачем вам, чтобы день проходил быстрее?»

Она не знала ответа. Или знала, но боялась произнести.

«Потому что я не знаю, что с ним делать», — сказала она. И это была правда. Но не вся.

Вся правда была в том, что она не знала, зачем вообще просыпаться. Зачем вставать с постели. Зачем дышать. Вся правда была в том, что она устала. Так устала, что даже мысль о том, чтобы что-то изменить, казалась непосильной.

Но мальчик смотрел на неё. Не с жалостью. Не с осуждением. Просто смотрел. И в его взгляде было что-то, что заставило её остаться. Что-то, что сказало: «Ты ещё здесь. Значит, ещё не всё потеряно».

Она вспомнила, как в детстве отец говорил ей: «Нора, если ты заблудилась — стой на месте. Не беги. Стой и жди. Кто-нибудь обязательно придёт». Она стояла на месте два года. И никто не пришёл. Кроме этого мальчика. Который не должен был приходить. Который ничего о ней не знал. Который просто... был.

Может быть, этого достаточно. Может быть, этого всегда было достаточно. Просто кто-то, кто рядом. Просто кто-то, кто не уходит.

— А вы? — спросила Нора, чтобы сменить тему. — Почему вы прогуливаете пары?

Итан пожал плечами. Он делал так каждый раз, когда не хотел отвечать. Нора уже начала замечать его привычки — как он отводит глаза, как сжимает карандаш, как меняется его дыхание. Он был как книга, которую она когда-то умела читать. Книга о мальчике, который потерял отца и не знает, куда идти.

— Потому что там скучно, — сказал он.

— Скучно — это не причина.

— А какая причина?

— Настоящая.

Итан замолчал. Дождь стучал. Тик. Тик. Тик.

— Потому что там все делают вид, — сказал он наконец. — Преподаватели делают вид, что им важно, что мы выучим. Студенты делают вид, что им весело. Все улыбаются, хотя никто не счастлив. Я не умею так.

Нора кивнула. Она понимала. Она сама когда-то делала вид. Каждый день. Перед классом. Перед коллегами. Перед Джеймсом. Улыбалась, хотя внутри была пустота. Говорила правильные слова, хотя не верила ни одному из них.

— А что ты умеешь? — спросила она.

— Я уже говорил. Рисовать. Делать обувь.

— Это не то, что ты умеешь. Это то, что ты делаешь. А что ты умеешь?

Итан задумался. Он смотрел на свои руки — на мозоли, на царапины, на следы от инструментов. Руки человека, который работает. Руки человека, который знает, что такое труд.

— Я умею слушать, — сказал он. — Когда тихо. Когда никто не говорит. Я слышу, как растут деревья. Как дышит земля. Как дождь разговаривает с листьями.

Нора уставилась на него. Это было... странно. И красиво. И правда.

— Ты это серьёзно?

— Да. — Он не улыбался. — Я всегда слышал вещи, которые другие не слышат. Отец говорил, что это дар. Мама говорила, что это выдумки. Я не знаю, кто прав.

Нора молчала. Она смотрела на дождь, на деревья, на мир, который её окружал. И пыталась услышать то, что слышал он. Но слышала только шум дождя. Только тишину. Только собственные мысли, которые не хотели замолкать.

— А я ничего не слышу, — сказала она тихо. — Только себя. И это... утомляет.

Итан посмотрел на неё. В его глазах было что-то — не жалость, не сочувствие. Понимание.

— Может, вам просто нужно перестать слушать себя, — сказал он. — И послушать что-то другое.

Они просидели в беседке до полудня. Дождь не прекращался — наоборот, становился сильнее. Вода заливала тропы, превращая парк в болото. Но им было всё равно. Они сидели в своём убежище, и мир снаружи переставал существовать.

Итан рисовал. Нора смотрела. Иногда они разговаривали — короткими фразами, обрывками мыслей. Иногда молчали. И в этом молчании было больше смысла, чем в любых словах.

— Вы читали Киплинга? — спросила Нора внезапно.

Итан поднял голову.

— Кого?

— Редьярда Киплинга. Поэта. Он написал «Книгу джунглей». И много стихов.

— Не читал.

Нора усмехнулась. Не насмешливо — тепло.

— Ты многое теряешь.

Она помолчала. Потом закрыла глаза и начала читать — тихо, нараспев, как читают стихи, которые знают наизусть:

— «О, если ты спокоен, не растерян, / Когда теряют головы вокруг, / И если ты себе остался верен, / Когда в тебя не верит лучший друг...»

Голос у неё был низкий, хрипловатый, но в нём была музыка. Итан слушал. Не понимал слов — они были слишком сложные, слишком взрослые. Но он слышал ритм. Слышал что-то, что отзывалось в груди.

— «И если ты умеешь ждать без усталости, / Не отвечать на ложь, не мстить за зло, / И если ты не будешь слишком малым, / Чтобы тебя величие влекло...»

Она замолчала. Открыла глаза. Посмотрела на него.

— Это стихотворение называется «Если». Киплинг написал его для своего сына. О том, как оставаться человеком, когда всё против тебя.

Итан молчал. Слова звучали в его голове, как эхо. Он не всё понял. Но что-то в них было — что-то важное. Что-то, что он хотел запомнить.

— Повторите, — сказал он. — Пожалуйста.

Нора посмотрела на него. Долго. Потом улыбнулась — ещё одна улыбка, которую Итан добавил в свою коллекцию.

— «О, если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг...»

Она повторила. Медленно. Чтобы он запомнил.

Он запомнил.

— Почему вы ушли из школы? — спросил Итан через час.

Нора вздрогнула. Вопрос был неожиданным — как удар в спину. Она смотрела на дождь, на серое небо, на мокрые деревья. Думала о том, что ответить. Или не отвечать.

— Потому что я сделала ошибку, — сказала она наконец.

— Какую?

— Таковую, которую нельзя исправить.

Итан молчал. Он не спрашивал дальше. Не давил. Просто сидел рядом и ждал — столько, сколько нужно. Нора чувствовала это. Чувствовала, что он не торопит. Что он готов слушать. Но она не была готова говорить.

— Может быть, потом, — сказала она. — Когда-нибудь.

— Хорошо, — ответил он. — Когда-нибудь.

И это было всё. Никаких «расскажите мне», никаких «я пойму». Просто «хорошо». Просто «когда-нибудь». И Норе стало легче. Не намного. Но легче.

Они встретились в среду. И в четверг. И в пятницу. Каждый день Итан приходил в парк, и каждый день Нора была там. Они разговаривали — всё больше, всё глубже. Она рассказывала ему о книгах, которые любила. Он рассказывал ей об обуви, которую делал. Она цитировала Киплинга, Теннисона, Йейтса. Он слушал, не всё понимая, но запоминая.

В среду она спросила:

— Почему ты хочешь стать сапожником?

Итан задумался. Он смотрел на свои руки, на карандаш, на блокнот.

— Потому что каждый человек куда-то идёт, — сказал он. — И каждому нужна обувь, в которой не больно. Я хочу делать такую обувь. Чтобы люди могли идти. Куда бы они ни шли.

Нора кивнула. Она думала о том, что этот мальчик — восемнадцатилетний, потерявший отца, непонятый матерью, чужой в колледже — знает что-то, чего не знают взрослые. Знает, зачем живёт.

— А куда идёшь ты? — спросила она.

Итан посмотрел на неё. Прямо. Открыто.

— Не знаю, — сказал он. — Но я хочу идти. Это главное.

В четверг она рассказала ему о своей любимой книге — «Тайный сад» Фрэнсис Ходжсон Бёрнетт. О девочке, которая нашла заброшенный сад и вернула его к жизни. О том, как сад исцелил её. О том, как сад исцелил всех, кто в него верил.

— Может быть, этот парк — тоже тайный сад, — сказала она, глядя на беседку. — Может быть, он исцеляет.

Итан посмотрел на неё. На женщину, которая сидела рядом и говорила о садах, которые исцеляют. На женщину, которая пила пиво по утрам и не знала, зачем просыпаться. На женщину, которая читала стихи и улыбалась, когда думала, что он не видит.

— Может быть, — сказал он. — Может быть, исцеляет.

В пятницу она спросила:

— Ты когда-нибудь влюблялся?

Итан покраснел. Он не ожидал этого вопроса. Не знал, что ответить.

— Нет, — сказал он. — Не было времени.

— Время всегда есть, — возразила Нора. — Просто ты его не замечаешь.

Она помолчала. Потом добавила тише:

— Я была влюблена. Один раз. Думала, что навсегда. Оказалось — на время.

— Что случилось?

— Он ушёл. — Она усмехнулась. — Как все.

Итан не знал, что сказать. Он смотрел на неё и чувствовал что-то, чему не было названия. Что-то, что было похоже на боль. Но не его боль. Её.

— Мне жаль, — сказал он.

— Не жалею. Это было давно. И это было правильно.

— Правильно?

— Да. — Она посмотрела на него. — Если человек уходит, когда тебе тяжело, — он не твой. Это не любовь. Это... удобство. А удобство заканчивается.

Итан запомнил это. Запомнил её слова. Запомнил, как она смотрела — прямо, без жалости к себе. Запомнил, как в её глазах что-то дрогнуло. Что-то, что было похоже на силу. Настоящую силу. Которая не кричит. Которая просто есть.

В субботу дождь прекратился. Впервые за две недели небо очистилось, и сквозь тучи пробилось солнце — бледное, осеннее, но настоящее. Нора пришла в парк и не узнала его. Тропы высохли, листья заблестели, воздух стал прозрачным. Беседка, которая казалась убежищем в дожде, теперь выглядела просто старой деревянной постройкой. Обычной. Без магии.

Итан пришёл позже. Без блокнота. Без карандаша. Просто пришёл.

— Я думал, вы не придёте, — сказал он.

— Я тоже.

Они стояли у беседки и смотрели друг на друга. Солнце светило, но было холодно. Нора думала о том, что впервые за долгое время она не пила пиво. Не потому что не хотела. А потому что забыла. Забыла о банке, которую оставила дома. Забыла о желании забыться.

— Почему вы пришли? — спросил Итан.

— Не знаю. — Она улыбнулась. — Наверное, привыкла.

Он улыбнулся в ответ. Это была первая улыбка, которую она увидела на его лице. Настоящая. Не усмешка. Не гримаса. Улыбка.

— Я тоже, — сказал он.

Они сели на скамью. Рядом. Ближе, чем обычно. Солнце светило, но они всё равно чувствовали тепло — не от света, а друг от друга.

— Я хочу вам кое-что показать, — сказал Итан. Он достал из рюкзака что-то — маленькое, завернутое в тряпку. Развернул.

Это был ботинок. Не рисунок. Настоящий. Кожанный, коричневый, с грубыми швами. Не идеальный — Итану ещё многому нужно было научиться. Но настоящий. Сделанный его руками.

— Это... для вас, — сказал он, краснея. — Ну, не для вас. Не совсем. Это просто... первый. Я хотел показать. Что я умею.

Нора взяла ботинок. Он был тяжёлый — тяжелее, чем казался. Она провела пальцами по швам, по коже, по подошве. Чувствовала, как Итан смотрит на неё. Ждёт.

— Он... хороший, — сказала она. — Правда хороший.

— Он не очень. Я знаю. Швы кривые. Кожа не та. Но я...

— Он хороший, — повторила она. — Потому что ты его сделал. Для кого-то.

Итан посмотрел на неё. В его глазах было что-то — благодарность, гордость, надежда.
— Для вас, — сказал он тихо. — Я хочу сделать для вас. Настоящие. Когда научусь.

Нора молчала. Она держала ботинок в руках и чувствовала, как что-то внутри неё — что-то, что она считала умершим — начинает шевелиться. Медленно. Неуверенно. Но начинает.

— Спасибо, — сказала она. И это слово было больше, чем слово. Это было обещание. Себе. Ему. Миру.

Они просидели в парке до вечера. Солнце село, небо стало розовым, потом фиолетовым, потом тёмно-синим. Зажглись фонари — жёлтые пятна света в сгущающихся сумерках. Парк опустел. Только они двое — мальчик и женщина — сидели на скамье и смотрели, как день умирает.

— Мне нужно домой, — сказала Нора наконец. — Поздно.

— Я провожу вас.

— Не надо.

— Поздно, — повторил он. — Я провожу.

Она не спорила. Они пошли вместе — по тропе, мимо пруда, мимо деревьев, которые в темноте казались великанами. Нора жила недалеко — в Брикстоне, в двадцати минутах ходьбы. Она никогда никого не приглашала к себе. Но сегодня... сегодня что-то изменилось.

— Я живу здесь, — сказала она, останавливаясь у старого дома с облупившейся краской.
— Спасибо, что проводил.

— Не за что. — Итан помолчал. — Завтра?

— Завтра.

Она поднялась по ступенькам. Открыла дверь. Обернулась. Итан стоял на улице, под фонарём, и смотрел на неё. Маленький, худой, с рюкзаком на плече. Мальчик, который потерял отца. Мальчик, который знает, куда идёт. Мальчик, который сказал ей, что она ещё здесь — и это что-то значит.

— Итан, — позвала она.

— Да?

— Спасибо.

Она закрыла дверь. Прислонилась к ней спиной. Закрыла глаза. И впервые за много месяцев почувствовала, что хочет плакать — не от боли, а от чего-то другого. От чего-то, что было похоже на надежду.

Итан шёл домой и улыбался. Он не знал, почему. Просто улыбался. Улицы были пусты, фонари горели, и в воздухе пахло осенью — листьями, дождём, чем-то ещё, неуловимым.

Он думал о Норе. О её глазах. О её голосе. О том, как она держала ботинок — бережно, как что-то ценное. Он думал о словах Киплинга, которые она читала. «О, если ты спокоен, не растерян...» Он не всё понял. Но что-то понял.

Он понял, что не один. Что есть человек, которому он нужен. Не для чего-то. Просто нужен. И это было... важно. Важнее всего на свете.

Мать ждала его дома. Она сидела на кухне, пила чай и смотрела в стену. Увидев его, она вздохнула.

— Где ты был?

— В парке.

— Опять.

— Опять.

Она покачала головой. Но не стала ругаться. Просто посмотрела на него — долго, внимательно.

— Ты изменился, — сказала она. — За последнюю неделю. Что-то случилось?

Итан задумался. Что сказать? Что он встретил женщину, которая пьёт пиво по утрам? Что она потеряна, как и он? Что она читает стихи, которые он не понимает, но хочет понять? Что она — единственный человек, который смотрит на него без осуждения?

— Ничего, — сказал он. — Просто... нашёл друга.

Дебора подняла бровь.

— Друга?

— Да.

Она не спросила, кого. Просто кивнула и вернулась к чаю. Итан пошёл в свою комнату. Сел за стол. Открыл блокнот. И начал рисовать. Не обувь. Женщину. С рыжими волосами и зелёными глазами. С усталой улыбкой. С банкой пива в руке.

Он рисовал до глубокой ночи. И когда закончил, посмотрел на рисунок и понял: это не просто портрет. Это обещание. Обещание, что он вернётся. Что он будет рядом. Что он поможет ей найти дорогу.

Потому что она помогла ему найти свою.

Ночью, лёжа в постели, Итан думал о словах, которые Нора прочитала ему. Он пытался вспомнить их — все, до последней строчки. Но помнил только начало. Только ритм. Только то, как её голос звучал в тишине беседки.

«О, если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг...»

Он не знал, что это значит. Не знал, как это применить к своей жизни. Но он чувствовал, что это важно. Что это — ключ. К чему-то. К чему-то, что он ещё не понимал.

Он думал о завтрашнем дне. О новой встрече. О новых словах. О новых рисунках. Он думал о том, что скажет ей. Что спросит. Что расскажет.

Он думал о том, что она — единственный человек, который не смеётся над его увлечением. Который не говорит, что обувь — это глупости. Который смотрит на его рисунки и видит что-то большее, чем кривые линии.

Он думал о том, что хочет сделать для неё что-то. Что-то важное. Что-то, что поможет ей. Что-то, что скажет: «Я хочу, чтобы ты шла дальше».

И он знал, что это будет. Обувь. Настоящая. Красивая. Удобная. Такая, в которой можно идти куда угодно.

Он заснул с этой мыслью. И ему приснился сад — большой, запутанный, полный троп. Он шёл по этим тропам, и рядом шла Нора. Они не разговаривали. Просто шли. А под ногами у них росли цветы. Светящиеся. Живые. Помнящие.

Утром дождь всё ещё шёл.

Итан встал, оделся и снова пошёл в парк.

Глава 4. Мастерская и колледж

Мастерская отца находилась в подвале старого дома на Блэкберн-роуд, в двух кварталах от квартиры, где Итан жил с матерью. Когда-то здесь был магазин — маленький, с витриной, на которой красовались ботинки ручной работы. Отец гордился этой витриной. Он говорил, что обувь должна быть видна людям, как картины в галерее. «Хорошая пара ботинок — это произведение искусства, сынок. И люди должны это видеть».

Теперь витрина была заколочена досками. Краска облупилась, стекло треснуло в двух местах, а вывеска — деревянная табличка с надписью «Hartley & Son» — покосилась и почти потерялась в плюще, который оплёл фасад. Никто не приходил сюда уже восемь лет. Никто, кроме Итана.

Он спускался в подвал каждую субботу — рано утром, пока мать спала после ночной смены. У него был ключ, старый, тяжёлый, с потёртой бородкой. Отец дал ему этот ключ в день, когда Итану исполнилось десять. «Теперь ты тоже часть мастерской, — сказал он тогда. — Ты — сын. Hartley & Son».

Итан вставлял ключ в замок и поворачивал. Замок сопротивлялся — ржавчина, время, забвение. Но каждый раз поддавался. Каждый раз дверь открывалась, и Итана встречал запах — тот самый запах, который он помнил с детства. Кожа. Клей. Воск. Дерево. Металл. Всё это смешивалось в густой, тёплый аромат, от которого щипало в носу и сжималось горло.

Он включал свет — тусклую лампочку под потолком, которая качалась на проводе и отбрасывала дрожащие тени на стены. И мастерская оживала. Медленно, как старый зверь, которого разбудили после долгого сна.

Стены были увешаны инструментами. Молотки, шила, клещи, ножи для кожи, деревянные колодки — всё это висело на своих местах, как было при отце. Итан ничего не переставлял. Не мог. Каждый инструмент помнил прикосновение отцовских рук. Каждый был святыней.

В углу стоял верстак — тяжёлый, дубовый, с бесчисленными царапинами и следами клея. На верстаке лежали незаконченные туфли. Те самые. Для матери. На день рождения. Отец начал их за месяц до смерти и не успел закончить. Левый туфель был почти готов — оставалось пришить подошву и отполировать кожу. Правый был наполовину собран — верхняя часть готова, но подошва ещё не приделана.

Итан смотрел на эти туфли каждый раз, когда приходил. И каждый раз что-то сжималось у него в груди. Он знал, что должен их закончить. Знал, что отец хотел бы этого. Но не мог. Не хватало чего-то — не навыка, не времени. Не хватало отца. Его рук. Его голоса. Его уверенности, что всё будет хорошо.

В эту субботу Итан пришёл в мастерскую с твёрдым намерением. Он решил закончить туфли. Не для матери — она всё равно не оценит. Для отца. Для себя. Для той женщины в парке, которая сказала, что он знает, куда идёт.

Он сел за верстак. Взял левый туфель. Провёл пальцами по коже — мягкой, выделанной, с тонким тиснением. Отец умел работать с кожей. Умел превращать грубый материал в нечто живое, дышащее, тёплое.

Итан взял шило и начал работать. Медленно, неуверенно. Он не был отцом. Он не был мастером. Но он учился. Каждый день. Каждый раз, когда приходил сюда.

Прошёл час. Потом два. Итан пришил подошву — криво, неидеально, но крепко. Отполировал кожу. Вставил шнурки. Откинулся на спинку стула и посмотрел на свою работу.

Туфель был готов. Не идеальный. Но готовый. Впервые за восемь лет что-то в мастерской отца было закончено.

Итан держал туфель в руках и чувствовал, как что-то внутри него — что-то, что было заперто, заморожено, забыто — начинает оттаивать. Медленно. Болезненно. Но оттаивать.

— Я закончил, пап, — прошептал он. — Один. Но закончил.

Ответа не было. Только тишина. Только тусклый свет лампочки. Только запах кожи и клея.

Но Итану показалось, что в этой тишине он слышит что-то. Не слова. Не голос. Просто... присутствие. Как будто отец стоял рядом. Как будто смотрел. Как будто улыбался.

Он положил туфель на верстак. Рядом с правым — незаконченным. Скоро. Скоро он закончит и его. Но не сегодня. Сегодня достаточно.

Он встал. Погасил свет. Закрыл дверь. Повернул ключ.

И вышел на улицу, где шёл дождь.

В понедельник Итан вернулся в колледж. Не потому что хотел. Потому что мать устроила скандал. Настоящий, с криками и слезами. «Ты хочешь, чтобы меня уволили? Ты хочешь, чтобы нас выгнали из квартиры? Ты хочешь, чтобы я умерла от стыда?»

Итан не хотел, чтобы мать умирала. Ни от стыда, ни от чего-либо ещё. Поэтому он пошёл в колледж. В свой персональный ад. В место, где каждый день напоминал ему, что он чужой.

Лондонский колледж моды находился в самом сердце города — большое современное здание из стекла и бетона, с огромными окнами и минималистичным интерьером. Внутри — белые стены, серые полы, запах краски и новых материалов. Студенты — молодые, амбициозные, одетые в модные вещи, которые стоили больше, чем месячная зарплата матери Итана. Они говорили о трендах, о брендах, о том, кто с кем встречается и кто что купил. Они смеялись — громко, уверенно, как люди, которые знают, что их место в этом мире.

Итан не знал своего места. Он носил старые джинсы и поношенные кроссовки, которые сам же и починил. Он не следил за модой. Не покупал дорогие вещи. Не ходил в клубы. Он был чужаком — и все это знали.

Первый курс, факультет дизайна обуви. Группа из двадцати человек — в основном девушки, несколько парней. Все — из обеспеченных семей. Все — с готовыми портфолио, с опытом работы в модных домах, с родителями, которые платили за обучение и не спрашивали, зачем.

Итан получил стипендию. Единственный в группе. Это делало его ещё более чужим.

Он вошёл в аудиторию и сел на своё место — у окна, на последнем ряду. Место, которое он выбрал сам, чтобы быть подальше от всех. Место, которое стало его крепостью. Его тюрьмой.

Преподаватель — мистер Харрингтон, пожилой, с седыми усами и вечным запахом табака — говорил о конструкции обуви. О том, как важно понимать анатомию стопы. О том, как правильно распределять нагрузку. Итан слушал. Он знал это. Знал лучше, чем кто-либо в аудитории. Отец научил его. Но он молчал. Потому что знал: если он заговорит, его высмеют.

— Хартли! — резкий голос мистера Харрингтона ворвался в его мысли. — Вы меня слушаете?

Итан вздрогнул. Обернулся. Вся группа смотрела на него. Кто-то хихикал. Кто-то шептался.

— Простите, сэр. Задумался.

— Задумались. — Мистер Харрингтон поднял бровь. — О чём же, позвольте узнать?

Итан молчал. Он не мог сказать правду. Не мог сказать: «Я думал о женщине, которая пьёт пиво в парке. О том, как она читает стихи. О том, как я хочу сделать для неё обувь». Это было бы безумием. Это было бы концом.

— Ни о чём, сэр.

— Ни о чём. — Учитель усмехнулся. — Как всегда, Хартли. Как всегда.

Группа засмеялась. Итан опустил голову. Он привык. За два месяца он привык ко всему. К насмешкам. К презрению. К одиночеству. Но каждый раз это было как удар. Каждый раз болело.

После пары Итана окружили трое. Он знал их — Дэниел, Маркус и Тоби. Лидеры группы. Те, кто решал, кто свой, а кто чужой. Те, кто сделал его изгоем.

— Хартли, — сказал Дэниел, улыбаясь. — Слышал, ты прогуливаешь пары. Гуляешь по паркам. С кем? С девушкой?

— Отвали.

— О, он огрызается. — Дэниел толкнул его в плечо. — Что, нашёл себе подружку? Какую-нибудь бомжиху?

Итан сжал кулаки. Он не хотел драться. Не хотел проблем. Но что-то внутри него — что-то, что проснулось за последние недели — не хотело молчать.

— Не твоё дело.

— Не моё дело? — Дэниел подошёл ближе. — Ты — отброс, Хартли. Твой отец был никем. Сапожником. Ты — никто. И твоя подружка — никто.

Итан рванулся вперёд. Не думая. Не рассчитывая. Просто рванулся. Но чья-то рука схватила его за локоть и удержала.

— Оставьте его.

Голос был спокойный. Твёрдый. Женский.

Итан обернулся. Софи Линь стояла рядом — невысокая, с тёмными волосами, забранными в хвост, и тёмными глазами, которые смотрели на Дэниела без страха.

— Что ты сказала, Линь? — Дэниел прищурился.

— Я сказала: оставьте его. — Софи не отступила. — Трое на одного. Как смело.

Дэниел посмотрел на неё. Потом на Итана. Потом снова на неё. Улыбка сползла с его лица.

— Ладно, — сказал он. — Пока. Но мы ещё поговорим.

Они ушли. Итан стоял, тяжело дыша. Софи отпустила его локоть.

— Спасибо, — сказал он.

— Не за что. — Она пожала плечами. — Они идиоты. Не обращай внимания.

Итан посмотрел на неё. Он знал Софи — они учились вместе с первого курса. Она была тихой, незаметной, всегда в углу с книгой. Он никогда не разговаривал с ней. Никогда не замечал её.

— Почему ты помогла?

Софи задумалась. Потом улыбнулась — легко, тепло.

— Потому что я видела, как ты рисуешь. В парке. Прошлой весной. Ты сидел на скамейке и рисовал. Обувь. Я подумала тогда: этот человек знает, что делает. А те, кто знают, — они не должны быть одни.

Итан уставился на неё.

— Ты была в парке?

— Я часто там бываю. — Софи пожала плечами. — Изучаю растения. Для проекта. Я хочу стать ботаником. Ну, или текстильщиком. Что-то связанное с природой и тканями.

Итан не знал, что сказать. Он думал, что один. Думал, что никто не видит. А оказывается, кто-то видел. Кто-то запомнил.

— Спасибо, — повторил он. — Правда.

Софи кивнула. И ушла — так же тихо, как появилась. Итан смотрел ей вслед и чувствовал что-то странное. Не благодарность. Не удивление. Что-то большее. Что-то вроде надежды.

Может быть, он не один. Может быть, есть ещё люди. Люди, которые видят.

Оливия Пенн появилась после третьей пары. Она всегда появлялась эффектно — высокая, красивая, с идеальными светлыми волосами и ледяными голубыми глазами. Королева колледжа. Та, кому все хотели понравиться. Та, кого все боялись.

Итан стоял у шкафчика, складывая учебники. Он не заметил, как она подошла. Просто почувствовал — холод, который исходил от неё. Как будто воздух вокруг стал на несколько градусов ниже.

— Хартли.

Он обернулся. Оливия смотрела на него сверху вниз — хотя была ниже его на полголову. Но это не имело значения. Она умела смотреть так, что ты чувствовал себя маленьким.

— Чего тебе?

— Я слышала, ты гуляешь в парке. — Она улыбнулась. Улыбка была красивой и пустой, как витрина закрытого магазина. — С кем-то. Взрослым.

Итан напрягся. Он не знал, откуда она узнала. Но она знала. Оливия всегда всё знала.

— Не твоё дело.

— О, я думаю, моё. — Она наклонилась ближе. — Ты знаешь, что бывает с мальчиками, которые путаются со взрослыми женщинами? Их исключают. Их матери теряют работу. Их жизнь заканчивается.

Итан смотрел на неё. В её глазах не было злости. Только холод. Только расчёт. Она не ненавидела его. Она просто играла. Как всегда.

— Зачем ты это делаешь?

— Делаю что?

— Всё это. Слухи. Угрозы. Зачем?

Оливия выпрямилась. Посмотрела на него долгим взглядом. И в этом взгляде было что-то — на секунду, всего на секунду — что-то похожее на боль. Потом исчезло. Спряталось. Вернулось холодное, пустое лицо.

— Потому что могу, — сказала она. — И потому что ты — никто. А никто не заслуживает счастья.

Она ушла. Итана трясло. Не от страха. От злости. От бессилия. Он знал, что она опасна. Знал, что она может разрушить всё. Но он не знал, что делать.

Он не знал, что Оливия Пенн была когда-то ученицей Норы. Что именно она разрушила жизнь женщины в парке. Что именно она была тем «неисправимым» злом, о котором Нора не хотела говорить.

Он узнает. Позже. Слишком позже.

Домой Итан вернулся разбитым. Он вошёл в квартиру, снял мокрые кроссовки, прошёл в свою комнату. И замер.

Мать стояла у его стола. В руках она держала его блокнот. Открытый. На странице, где он рисовал Нору. Её лицо. Её волосы. Её усталую улыбку.

Дебора подняла голову. Её глаза были красными. Не от слёз. От злости.

— Что это? — спросила она. Голос был тихим. Опасным.

— Это... это рисунок.

— Я вижу, что это рисунок. — Она перевернула страницу. Ещё один рисунок. Ещё один эскиз. Нора. Нора. Нора. — Кто она?

Итан молчал. Он не знал, что сказать. Не знал, как объяснить.

— Кто она? — повторила Дебора. Громче.

— Друг.

— Друг? — Мать усмехнулась. Горько. — Ты рисуешь её каждый день. Ты уходишь в парк каждое утро. Ты не ешь. Не спишь. Не разговариваешь со мной. И всё это — ради «друга»?

— Мам...

— Кто она? Взрослая женщина? Да? — Дебора бросила блокнот на стол. — Ты знаешь, что о тебе говорят? Ты знаешь, что мне говорят? Что твой сын связался с какой-то... какой-то...

Она не договорила. Не смогла. Слишком тяжело.

Итан смотрел на неё. На женщину, которая работала день и ночь, чтобы он мог учиться. На женщину, которая потеряла мужа и боялась потерять сына. На женщину, которая не понимала его. Никогда не понимала.

— Она — не «какая-то», — сказал он тихо. — Она — человек. Одинокий. Как я. Как ты. Дебора вздрогнула. Что-то в её лице изменилось. На секунду. Потом вернулось.

— Ты не будешь с ней видаться, — сказала она. — Я запрещаю.

— Ты не можешь запретить.

— Могу. Я — твоя мать.

— Ты — моя мать, — согласился Итан. — Но ты не я. И ты не можешь решать, кем мне быть. И с кем.

Он взял блокнот. Прижал к груди. Посмотрел на мать. В его глазах не было злости. Только усталость. Только печаль. Только что-то, что было старше его лет.

— Я люблю тебя, мам. Но я не могу жить твоей жизнью. Я не могу быть тем, кем ты хочешь меня видеть. Я — не папа. Я — не ты. Я — это я.

Дебора молчала. Она смотрела на сына — на мальчика, который вырос. На мальчика, который стал мужчиной. На мальчика, который был так похож на своего отца — упрямый, честный, идущий своей дорогой.

— Ты будешь жалеть, — сказала она наконец. — Ты будешь жалеть, что не послушал меня.

— Может быть, — ответил Итан. — Но я буду жалеть о своём. А не о твоём.

Он вышел из комнаты. Закрыв дверь. Прислонился к ней спиной. Закрыв глаза.

Он не знал, что будет дальше. Не знал, как починить то, что сломалось между ним и матерью. Не знал, как защитить Нору от Оливии. Не знал, как закончить туфли.

Но он знал одно. Он не сдастся. Он найдёт способ. Он будет идти.

Потому что так учил отец. Потому что так сказала Нора. Потому что так было правильно.

Ночью Итан лежал в постели и смотрел в потолок. Он думал о мастерской. О туфлях, которые закончил. О правом туфле, который ещё ждал. Он думал о колледже. О Дэниеле. О Софи. Об Оливии. О холоде в её глазах.

Он думал о Норе. О том, как она держала ботинок. Как смотрела на него. Как сказала: «Спасибо».

Он думал о словах Киплинга, которые она читала. «О, если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг...» Он не помнил всего. Но помнил начало. Помнил ритм. Помнил, как её голос звучал в тишине.

Он закрыл глаза. И представил сад. Большой, запутанный, полный троп. Он шёл по этим тропам, и рядом шла Нора. Они не разговаривали. Просто шли. И это было хорошо.

Утром он снова пойдёт в парк. Снова увидит её. Снова будет рисовать. Снова будет слушать.

А потом... потом он что-нибудь придумает. Что-нибудь, что поможет. Что-нибудь, что спасёт.

Он не знал, что именно. Но он верил. Впервые за долгое время он верил.

И эта вера была сильнее страха.

Глава 5. Сад раскрывается

В среду дождь вернулся. Он пришёл ночью — тихо, без предупреждения, как гость, который знает, что его ждут. Итан проснулся от знакомого стука по карнизу и почувствовал, как что-то внутри него расслабилось. Дождь был не просто погодой. Дождь был обещанием. Обещанием, что она придёт. Что беседка снова станет их миром. Что слова, которые они не сказали, будут сказаны.

Он оделся быстро — серая толстовка, джинсы, старые кроссовки, которые он починил прошлой зимой. Взял рюкзак. Блокнот. Карандаши. И ещё кое-что — свёрток, завернутый в старую ткань. То, над чем он работал три вечера подряд. То, что он хотел показать ей.

Мать спала. После скандала в понедельник они почти не разговаривали. Дебора уходила на смену рано утром и возвращалась поздно вечером. Они виделись урывками — на кухне, в коридоре, в дверях. Обменивались короткими фразами — «доброе утро», «как дела», «не забудь поесть». Слова, которые ничего не значили. Слова, которые были ширмой, за которой пряталась боль.

Итан знал, что мать не сдалась. Знал, что она ждёт. Ждёт, когда он «образумится». Когда бросит свои «глупости». Когда станет нормальным. Как все.

Но он не мог. Не хотел. Не умел.

Он вышел из квартиры и закрыл дверь тихо, чтобы не разбудить. Улица встретила его серым светом и мокрым асфальтом. Лондон в дожде был другим городом — более честным, более настоящим. Смывалась вся мишура, вся фальшь, вся показная красота. Оставалось только главное. Камень. Вода. Небо. И люди — маленькие, спешащие, спрятанные под зонтами.

Итан шёл без зонта. Он никогда не брал зонт. Ему нравилось чувствовать дождь на лице. Нравилось, как капли стекают по щекам, как волосы прилипают ко лбу, как одежда становится тяжёлой от влаги. Это было честно. Это было по-настоящему. Как обувь. Как кожа. Как слова, которые говорят не для того, чтобы понравиться.

Парк встретил его тишиной и запахом мокрой земли. Тропы размокли, листья под ногами превратились в кашу, воздух был густым, как сироп. Итан шёл знакомым маршрутом — мимо пруда, мимо старых дубов, мимо статуи, у которой отвалилась голова. Он знал каждое дерево, каждый камень, каждую трещину в асфальте. Этот парк стал его вторым домом. Или первым. Смотря как считать.

Беседка появилась из тумана, как всегда. Зелёный плющ, облупившаяся краска, протекающая крыша. И она. Нора. Сидела на скамье, поджав ноги, в своём тёмном плаще. Волосы мокрые. Банка пива в руке. Но что-то было не так. Что-то изменилось.

Итан остановился. Присмотрелся. И понял.

Она улыбалась.

Не усмехалась. Не кривила губы. Улыбалась. По-настоящему. Широко. Так, как улыбаются люди, которые давно не улыбались и забыли, как это делается. Улыбка была неуверенной, немного кривой, но настоящей.

— Доброе утро, — сказала она. Голос был хриплым, но в нём была новая нота. Что-то похожее на тепло.

— Доброе, — ответил Итан. Он вошёл в беседку, сел на своё место. — Вы... сегодня другая.

— Другая? — Она подняла бровь.

— Улыбаетесь.

Нора посмотрела на банку в своей руке. Потом на него. Потом снова улыбнулась — на этот раз шире.

— Вчера я выбросила все банки из квартиры, — сказала она. — Все. Двадцать три штуки. Считала.

Итан молчал. Он не знал, что сказать. Это было... важно. Он чувствовал это. Важно.

— Почему?

Нора задумалась. Она смотрела на дождь, на деревья, на мир, который её окружал. Думала о том, что ответить. О том, как объяснить то, что не поддавалось объяснению.

— Потому что вы, — сказала она наконец. — Вы сказали, что обувь — это правда. Что она не умеет притворяться. Я подумала... если я не могу притворяться, то зачем я пью? Пиво — это тоже притворство. Притворство, что всё нормально. Что я нормальная. Что я не сломана.

Она помолчала. Потом добавила тише:

— Я устала притворяться.

Итан кивнул. Он понимал. Он тоже устал. Всю жизнь устал.

— Я кое-что принёс, — сказал он. Достал из рюкзака свёрток. Развернул ткань.

Это был эскиз. Не просто эскиз — рисунок. Большой, на весь лист. Женская туфля. Изыщная, с тонким каблуком, с мягким изгибом, с шнуровкой, которая шла не снаружи, а внутри — так, чтобы не бросалась в глаза. Туфля была нарисована в движении — как будто женщина, которая её носит, только что сделала шаг. Или собиралась сделать.

— Это для вас, — сказал Итан. — Я думал... вы могли бы носить такие. Если бы захотели. Они удобные. Я проверил. Ну, на бумаге.

Нора взяла рисунок. Осторожно, как берут что-то хрупкое. Долго смотрела. Молчала.

— Она красивая, — сказала она наконец.

— Она не красивая. Она удобная.

— Она красивая, потому что удобная. — Нора подняла на него глаза. — Ты понимаешь это? Ты понимаешь, что ты делаешь?

Итан не понял. Не сразу. Но что-то в её голосе — что-то дрожащее, живое — заставило его замереть.

— Что я делаю?

— Ты рисуешь обувь для людей, которых не знаешь. Ты представляешь, куда они идут. Что чувствуют. Чего боятся. Ты даёшь им... — она запнулась, подбирая слово. — Ты даёшь им путь. Даже на бумаге. Даже в рисунке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.